

4. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.
5. Жирмунский В. М. К вопросу о «формальном методе» // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
6. Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994.
7. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М., 1976.
8. Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
9. Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М., 1999.
10. Тюпа В. И. Постсимволизм. Самара, 1998.
11. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
12. Ван Дейк Т. А. Анализ новостей как дискурса // Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
13. Пелевин В. О. Generation «П». М., 1999.
14. Лотман Ю. М. Литературная биография в историко-культурном контексте // Литература и публицистика. Проблемы взаимодействия. Тр. по русской и славянской филологии. Вып. 683. Тарту, 1986.
15. Лихачев Д. С. О филологии. М., 1989.

*Людмила Семеновна ФИЛИПОВА –
доцент кафедры русского языка
филологического факультета, кандидат
филологических наук*

УДК 801. +808. 2 +809. 44/45

ОТРАЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О ТЮМЕНСКОМ СЕВЕРЕ

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются функции ненецкого и мансийского языков, отражающиеся в произведениях К. Носилова, А. Неркаги и Ю. Шесталова. Наиболее ярко в художественных текстах представлена познавательная и магическая функция языка. Своеобразна фатическая (контактоустанавливающая) функция речи, зависящая от условий жизни северных народов.

The author analyses some functions of the Khanty and Mansy languages reflected in the stories by K. Nosilov, A. Nerkagi and Yu. Shestalov. The functions that received the utmost coverage are cognitive, magic and phatic. The latter is dependent upon ethnographic peculiarities of northern indigenous peoples.

Поводом для написания статьи послужили многочисленные высказывания о слове в произведениях Анны Неркаги, которые встречаются как в речи героев, так и в речи самой писательницы. Например, в предисловии к повести «Молчащий» А. Неркаги пишет: «Я боюсь предсказывать. Заметила, что предчувствия мои сбываются. Это обязывает быть осторожным со Словом, особенно с тем, что приходит в душу в минуту ни с чем не сравнимого волнения, схожего со странной болезнью: ум разгорячен, внутренний взор видит то, что в обычном состоянии вовсе не заметно. Тогда можно сказать все» [1, 232]. Сказанное позволило предположить возможность использования художественных произведений в качестве источников для наблюдения за функционированием языка.

Итак, целью статьи является описание отраженных в художественных текстах особенностей функционирования языка у народов Тюменского Севера (манси, ненцы).

Объем и характер источников исследования ограничивают сферу наблюдений и позволяют выявить лишь некоторые, имеющиеся в художественных произведениях особенности языка, характерные для той или иной языковой общности [2, 25]. При этом следует заметить, что функции языка проявляются в речевой деятельности индивидов, относящихся к какой-либо языковой общности, поэтому в статье употребляются термины «функции языка» и «функции речи». Основными функциями языка являются коммуникативная и познавательная, «они почти всегда присутствуют в речевой деятельности, поэтому их иногда называют функциями языка, в отличие от остальных функций речи» [3, 14-15].

В качестве материала для наблюдений послужили произведения А. Неркаги, К. Носилова, Ю. Шесталова:

— повести А. Неркаги «Белый ягель» (1996 г.), «Илир» (1978 г.), «Молчащий» (1996 г.), «Анико из родо Ного» (1974 г.) [1];

— очерки и наброски К. Носилова «У вогулов» (1904 г.), [4] «На новой Земле» (1903 г.); [5]

— повести Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» (1965 г.), «Тайна Сорниной», «Когда качало меня солнце» (1972 г.) [6]. Используется материал и некоторых других авторов (см. в тексте).

Произведения А. Неркаги и очерки К. Носилова «На Новой Земле» посвящены жизни ненцев, а повести Ю. Шесталова и очерки К. Носилова «У вогулов» описывают жизнь манси, однако имеющийся материал позволяет говорить скорее об общих чертах в функционировании ненецкого и мансийского языков, чем о их различии.

Очерки К. Носилова и современных писателей А. Неркаги и Ю. Шесталова разделяет большой временной отрезок, важный еще и по тем социальным изменениям, которые произошли в жизни манси и ненцев в связи с Октябрьской революцией и нефтяным и газовым освоением Тюменского Севера. Однако у К. Носилова встречается не так уж много наблюдений за языком, поэтому мы не ставим цели выявить изменения в функционировании ненецкого и мансийского языков на протяжении более чем полувековой истории, хотя, безусловно, эти изменения в языке должны быть, ибо отрицать влияние социальных факторов на язык невозможно, и это влияние известно и описано в лингвистической литературе [7]. Интересно, что в анализируемых произведениях герои, ненцы и манси, замечают изменения в языке. Старый Вану («Белый ягель») размышляет: «Что-то случилось с человеческим словом. Не то игрушкой стало оно в руках людей, не то камнем, которым можно бросить в спину другому. Обессилело слово, как олень, загнанный жестоким хозяином. Люди перестали говорить сильно, с уважением, радостно. Человеческое слово потеряло свою суть – и это беда, невидимая, как болезнь» [1, 54]. С горечью говорит старик Хасава («Белый ягель»): «Пришло время, когда Золотое Слово правды люди разорвали, как вороны рвут найденную падаль» [1, 75]. Собираясь писать письмо дочери соседа, Вану думает: «Его слова бессильны объяснить горе старика. Он может лишь заплакать гагарой. Но сейчас плач гагары для молодых ничего не значит. У них есть свои, новые слова. Новый язык, на котором часто говорят и его дети. И к той далекой женщине надо обратиться на таком языке» [1, 52].

К. Носилов описывает, как еще до Октябрьской революции появились вогульская и ненецкая школы, где обучали русскому языку: «Вот уже двадцать лет как я их (вогулов) наблюдаю, а незаметно, чтобы этот народ перенимал русскую жизнь. Но школа привилась к ним быстро и крепко.

... Школу, с которой я хочу познакомить читателя, я встретил в их маленьком селе Нахрачи...

... Много было хлопот с маленькими дикарями: они не только не умели сказать слова по-русски, но даже не умели сидеть на стульях, и ей (учительнице) пришлось на первых порах учить их этому. Русскому языку, благодаря способности вогулов [8],

она научила их довольно скоро, запретив говорить в школе по-вогульски, но выучить их сидеть на стульях, как это ни странно, довольно долго ей не удавалось»... [4, 278-280].

К 1898 г. была организована при женском монастыре в Кондинске школа, где учились и дети остяков [4, 282].

К. Носилов пишет: «Я спросил, как учатся остяки. Мне их не особенно хвалили. Но это совсем не относилось к способностям этого народа к учению, а скорее к тому, что они просто еще плохо знали русский язык, за который их сразу посадили.

Но в общем они, по словам учительницы, мало отстают от русских мальчиков и девочек, охотно учатся и привыкают к русскому языку, хотя, по-видимому, им сначала тяжела эта неволя.

Для тех, кто еще не понимал хорошо русского языка, учительница составила остяцкую грамматику» [4, 284].

В очерке «Самоедская школа» [9] К. Носилов описывает первую русскую школу для ненцев на острове Кармакулы, что расположен в Северном Ледовитом океане. В этой школе первоначально обучались целыми семьями: «И вот так, с картинками, стараясь растолковать как можно более понятным языком и жестами, ломая неимоверно язык, мы незаметно учим этих детей природы русскому языку и знаниям по всем отраслям наук. Выйдешь на улицу прогуляться, увидят тебя самоедские ребяташки, бегут уже рядом и спрашивают, желая поучиться русскому языку, указывая на разные предметы: «Труба?» Отвечаешь: «Труба». – «Окошко? Пимы?» Говоришь: «Окошко, пимы». И, довольные, что они узнали, как называется по-русски труба, окошко и пимы, они заливаются своим детским смехом и приплясывают от удовольствия на сугробах» [5, 357].

Ю. Шесталов в очерке «Сказка и жизнь» с благодарностью пишет: «Спасибо ему, русскому учителю! Это он тебя сделал думающим, большим человеком сделал...» [10, 172].

Ю. Шесталов отмечает: «Не сразу русский учитель завоевал такое волшебное доверие.

Нелегко было Аркадию Николаевичу Лоскутову, Алексею Васильевичу Голошубину – первым учителям сосвинских манси. Родители сначала не отдавали своих детей в школы. Шамана боялись. А шаман говорил: «Отдадите детей – потеряете их. Дьявольской грамоте научат, родителей не захотят узнавать».

Первые учителя не отступили. Выучили мансийский язык и по юртам, по домам пошли. Беседовали с родителями, разъясняли нужность учения. Не во все дома пускали учителя. Но кто-то уже понимал, разрешал заниматься с ребенком. Дети с любопытством заглядывали в окна школы. С интересом приоткрывали двери. А в школе сначала просто рисовали, слушали рассказы учителя о новом, чудесном мире, в котором они, дети, будут жить.

Алексей Васильевич Голошубин перевел с русского на мансийский пьесу и поставил ее на школьной сцене. С удивлением смотрели не только ученики, но и родители. «Емас рума! – говорили манси. – Хороший друг – учитель!».

Аркадий Николаевич Лоскутов рассказывал, как они боролись с вековыми предрассудками, царившими в крае» [10, 173-174].

В очерке «Край сокровищ» Ю. Шесталов пишет: «Человек северного сияния подружился с книгой. Благодаря ей он в сказочно короткий срок освободил душу от языческих поверий каменного века и стал наполнять ее доброй культурой, накопленной человечеством.

А книгу в тайгу и тундру принес русский учитель.

Какими бы сказочными кладами ни поражала воображение не раскрытая до конца земля Севера, чудо, сотворенное русским учителем, навсегда останется главным чудом» [10, 60].

Двуязычие современной молодежи стало обычным. А. Неркаги описывает приезд домой детей старого ненца Хасавы: «За утренним чаем дети больше молчали, и если начинали говорить, то только по-русски. Слова их, резкие, как кличи воронов, завидевших падаль, наводили на мысль о жестоком споре, который они решили закончить за родительским столом близ родового очага» [1, 85].

Ю. Шесталов в повести «Синий ветер каслания» пишет о бригадире Ёикоре: «Сомной он говорит только по-русски. И на ломаном русском языке начинает пересказывать содержание фельетона, прикрашивая его мансийскими сравнениями. И фельетон становится ярче» [11, 416].

Приехав в Ханты-Мансийск из Ленинграда, Ю. Шесталов побывал в гостях у мансийского рабочего Анатолия Саратина, с которым жил когда-то в одной деревне:

«– Хочешь послушать песни? – налаживая магнитофон, говорит Саратин. – Недавно записал.

И «русская квартира» Саратиных вдруг заполняется мансийским миром. Сначала это кажется давней-давней сказкой, почти легендой. Немолодой, но еще довольно бодрый голос выводит знакомую мелодию. И плывут слова певучие, обыкновенные, мансийские...

Я почувствовал, что эта мелодия близка мне до сердечной боли. И вот я снова качаюсь в волшебной колыбели, плыву на легкой лодочке-калданке; снег хрустит под лыжами, обитыми ворсистым мехом выдры, и добрыми великанами стоят рядом кедры, и санквалтап звенит глуховато-звонкими струнами-жилами...

И я почувствовал себя богатым человеком: меня волновал язык Ленина так же, как и язык моей мансийской матери. Язык моего лесного народа не хотел отпускать меня от своего древнего волшебства так же, как язык Пушкина поднимал меня к волшебству поэзии.

В доме Саратиных звучала то мансийская речь, то русская. И это мне казалось естественным...» [10, 231].

Безусловно, что интерес к русскому языку у коренных народов Севера вызван изменением условий их жизни. В этом плане интересны слова матери Ю. Шесталова, сказанные ему в детстве после того, как в деревню прилетел самолет: «Крылатые люди прилетели. Русские. Слушай, как они говорят. Учись. И ты будешь крылатым». И будущий писатель говорит: «Мне очень захотелось говорить на языке крылатых» [10, 51].

Влияние русской культуры приводит к заимствованию русских слов, которые не переводятся на родной язык. Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров отмечают, что русская безэквивалентная лексика составляет 6-7% от общеупотребительной лексики [12, 248]. Много новых слов появилось в языке манси и ненцев после Октябрьской революции. Не сразу, нелегко усваиваются иные слова. «Кто такой Революца? Если человек, то какие у него глаза, руки, голова? Кто такой Революца? Если он дух, то какой дух? Черный или белый? Злой или добрый? Какую жертву он просит? Большую или маленькую? Жертву с кровью или без крови?» – так описывает Ю. Шесталов самые противоречивые слухи, которые доходили до глухой деревеньки Хомратпавыл [6, 293].

«Богатый Урал – как пояс с драгоценными камнями. Центром Земли считали его манси.

Но не там «шумел» таинственный дух Революца. Это русский дух. А у русских свои сказки, свои тайны, свои глаза. Для них Урал, может, и совсем не центр земли. И Тобольск у них – город не царский. А для манси и Березово не чум, а город» [6, 296].

Ю. Шесталов описывает, как Ванька Дровосек привел Солвала в большой дом, «который называл таинственным словом «народом»... Незнакомыми были и другие слова: красногвардейцы, большевик, Председатель Совдепа. «Только слово «рабочий» о чем-то смутно говорило» [6, 298].



А «однажды приехал в деревню Ванька Дровосек, — пишет Ю. Шесталов. — Был у него вороной конь. И имя у него новое. Одни звали его Совет-ласть, другие — Милица» [6, 367].

«Слова Совет-ласть оказались не пустыми. Скоро подошли обозы. Приехали представители Советской власти» [6, 368].

У А. Неркаги читаем: «Старый «Совет» Ванька, как называли его ненцы, был прав. Советская власть, несмотря на свою молодость, была крепка верой людей в нее», и далее: «Вану остановился тут не случайно. В глубине души он все-таки был уверен, что «советом» не поставят пустого человека» [1, 51-52].

Много новых слов пришло в язык коренных народов Севера в период освоения нефтяных и газовых месторождений.

Ю. Шесталов пишет о старике Ильме-Аки: «В последнее время в словаре старика появились новые слова: бульдозер, шарошка, буровая, газопровод, авария, даешь газу, аврал, всем труба, и точка! . . .

Последнее — «и точка!» — фигурировало в каждом его предложении. «Что такое настоящая жизнь? — спрашивали его. . . Настоящая жизнь, — это когда живешь хомхозы. И точка!..» [6, 144].

Старый манси Солвал говорит об Игриме: «Экспедиция пришла, железнодорожные деревья-вышки — посадила, машины привела, землю сверлить стала. . .

Что я делаю в Игриме? Хожу, слушаю, спрашиваю. . .

— Как называется железная лестница, что в землю упирается и в небо упирается?

— Как называется чудовище, железными зубами хватяющее землю, сосны, брусья?

— Бульдозер, — отвечают мне. Все должен знать старый человек, входящий в новый век!.. » [6, 373].

Обратимся к особенностям функционирования языка.

В произведениях о Тюменском Севере имеются замечания о познавательной функции языка — об «участии языка в хранении и передаче от поколения к поколению общественно-исторического опыта людей» [3, 15].

А. Неркаги отмечает, что слово передается от отца и матери детям. Старый Пэтко говорит Алешке: «Я умру, Илне придет на мою могилу, передай ей тогда мое слово» [1, 94]; мать Алешки готовится к разговору с сыном: «Надо найти Слово. Оно должно быть сильнее, чем то, которое скажет сын» [1, 103]. О роли языка в сохранении знаний выразительно говорит Ю. Шесталов, описывая мансийские сказки:

«Сергей глянул на медвежий след, который петлял по снегу, в душе его молнией сверкнули видения этой сказки. . . Некоторые их считают нелепыми, даже глупыми. Когда-то и Сергей считал так же. Но с некоторых пор он изменил к ним свое отношение. В природе ведь нет ничего, что можно было бы приписать случайности. Законы природы, по которым все происходит и изменяется из одних форм в другие, везде и всегда одни и те же, а следовательно, и способ познания сути вещей, каковы бы они ни были, должен быть познанием законов природы. В сказках — живут представления людей о природе, о бытии. В них клокочат те же загадки и таинства, ставятся, порой очень остро, те же вопросы, что нередко возникают и в окружающей жизни» [6, 36].

Самые важные мысли, считается у ненцев и манси, передаются в конце жизни, незадолго до смерти. У Ю. Шесталова читаем:

«В последнее время Сергей стал внимательнее относиться к Ильля-Аки, который все чаще намекал, что он скажет главное слово, когда взойдет на последнюю свою вершину, перед самым уходом в иной мир.

— Взошедший на последнюю вершину говорит главное слово, — проронил он однажды. — Не упусти, внучек, мое главное слово.

Да, Ильля-Аки последний древний манси. Вместе с ним уйдет многое. И хотя Сергей совсем другой манси, но и у него есть что-то от деда. А разве не так? А раз так,

значит, ему знать и беречь сказания предков, и в то же время сознавать, что он создаст своими руками новое и дарит людям огонь и тепло земли» [6, 178].

Во всех анализируемых произведениях ярко отражена так называемая магическая («заклинательная») функция речи. Н. Б. Мечковская отмечает, что «все известные в истории культурные ареалы сохраняют в той или иной мере традиции религиозно-мистического сознания. Поэтому магическая функция речи универсальна, хотя конкретные ее проявления в языках мира бесконечно разнообразны и удивительны» [3, 26].

Проявлением магической функции является обращение не к человеку, а к высшим силам, в данном случае к многочисленным богам, божкам, идолам, духам. Таковы, например, духи мертвых, духи в самом широком смысле слова, одушевляющие разные предметы природы, животных, растения, неодушевленные предметы (реки, скалы, моря, горы), изготовленные человеком предметы и т. д.

К. Носилов, говоря о традициях вогулов, пишет: «Часто для этого (изготовления божка) служила какая-нибудь береза, на которой путник, прохожий мог вырезать свою тамгу или сделать изображение лица с длинным носом, которое должно означать олицетворение того божка, которому оно адресовалось» [4, 65]. Обожествляется огонь как необходимое условие существования. Так, в повести А. Неркаги «Белый ягель» мать Алешки, не находя выхода из создавшегося положения, думает: «Нужен разговор с огнем». Ей всегда хотелось подготовиться, насторожить душу для такого разговора, чтобы не краснеть перед лицом Великого Огня. Не растерянным ребенком лепетать, но и не шамкать беззубым ртом. Слово к Огню – слово души. Первое и последнее, и оно дается лишь раз в жизни, как рождение или смерть» [1, 32]. Вера в магическую силу слова приводит к тому, что мать Алешки видит реакцию Огня на ее Слово: «Много исповедей, молитв, радостей, прощаний и смертей видел и принял Огонь. Слушал он и старую женщину... Благодарно улыбнулась женщина чуду, и радость, заполнив ее, билась в каждом толчке крови. Ее слово было принято. Не упало в землю холодным камнем, не вороном в небо поднялось, а в Великую душу принято» [1, 34].

Илир (повесть «Илир») разговаривает со скалами: «Эй! Эй! Голубые великаны! Это я! Эй! – кричал Илир, глотая слезы. – Посмотрите, я тоже стал сильным. Теперь я сам справлюсь со злым человеком, который мог убить вашего брата» [1, 229].

Анико по просьбе отца разговаривает с «хозяином рода»: Перед Анико «сидел маленький человечек в белоснежной малице... В этот миг она верила, что от Идола, спокойно смотревшего на нее, зависела ее судьба, судьба ее рода и ее детей. Она верила, и уже это было просьбой, чтобы он был добр к ней, к людям, особенно к ее одинокому отцу» [1, 365].

Особо следует выделить разговоры с умершими: «Ведь молчать, придя на могилу, нельзя. Ненец, сидя у могилы, рассказывает о том, как живет и что думает, иначе покойник обидится» [1, 397].

Обращение к высшим силам требует речи, отличной от обиходной, понятной этим силам. Вырабатываются особые формы речи, где большое значение имеет организация речи – ритм, рифма, мелодика. Ю. Шесталов пишет: «Мне легче. Я снова вижу печальную маму. А в углу, перед красной шелковой занавеской, сидит дедушка. Под напевную музыку слов у него в руках дрожит топор, повязанный шерстяным поясом. Он говорит с духами, с нашими домашними богами, которые сидят в сундуке за этой красной занавеской. Он говорит, как поет. А поет, как говорит. И слов его мне не понять. То слова божественные. И говорит он волшебным языком, который не многим дано понять» [6, 221-222].

Наиболее ярко «внушающая», «заклинательная» сила слова (магическая функция) проявляется в ритуалах шаманов. Вот как описывает шамана Ю. Шесталов: «В отличие от шамана Яксы Потепка считал, что люди глупы, они боятся даже своей тени, не только духов. И поэтому их надо, мол, больше страшить».



«Если научишься делаться страшным, не похожим на людей, то будешь великим шаманом и великим человеком! – говорил он. – Если понадеешься на один свой ум и священные слова, которым тебя учил Якса, — не многого достанешь!...».

Солвал видел, как по утрам Потепка приводил себя в «волшебное состояние». Нет! Он не духам молился! Он прыгал как необъезженный конь, извивался всем телом, как скользкий и вьющийся налим...

Не забывал и слово. Священные молитвы старался произнести по-своему. Долго над одним словом возился. Он говорил как щелкал орехи. Пока скорлупа не лопнет – он не бросит орешек. Пока слово не приобретет певучести волшебной, он не перестанет им играть...

И про голос свой он не забывал... Он пел песни. Одни из них невозможно было понять. Другие песни простые, с обыкновенными мансийскими словами и мелодией» [6, 308].

Ю. Шесталов неоднократно подчеркивает специфичность языка шаманов. Описывая старика Аки, писатель говорит: «Он часто слушал хрипловатый голос радиоприемника, просил перевести на мансийский язык содержание статей в газете. Потом рассуждал. У него обо всем было свое слово. А в один из таких дней он вдруг заговорил «шаманским языком»... [6, 14].

Шаман, — говорит Ю. Шесталов устами своего героя, — это не простой человек. «Говорил, как пел. Как весенний тетерев токовал. Заслушаешься, забудешь себя и горе свое. И ты уже в его власти. И несешь ему не только свое добро, но и свое сердце. В руках шамана плясали манси и ханты» [6, 398].

В повести «Синий ветер каслания» Ю. Шесталов также пишет об особом языке шаманов: «И дед исполнял желания людей. Он садился на низенькую скамеечку, что не выше дикой утки, брал в руки топор, связанный мансийским поясом, и, устремив острый, как солнечный луч, взгляд в угол дома, где на полочке почти у потолка стояла священная голова медведя – хозяина тайги, начинал бормотать что-то непонятное. Это он говорил с богами на божественном языке. Потом его песня становилась мелодичней и понятней, и люди вслушивались в таинственное предсказание богов» [11, 411].

«Гипнотическое воздействие речей и действий шаманов объясняется прежде всего психологически – страхом людей перед силами природы, когда, как пишет Люсьен Леви-Брюль, люди «не в состоянии хладнокровно помыслить об этих неуловимых влияниях, постоянное присутствие и действия которых он (человек) замечает или подозревает». Л. Леви-Брюль приводит сообщение эскимосского шамана, который, «для выражения преобладания эмоциональных элементов в представлениях о невидимых силах нашел пленительную формулу: «Мы не верим, мы боимся», — которую развил следующим образом: мы боимся духа земли, который вызывает непогоду и заставляет нас с боем вырывать нашу пищу у моря и земли... Мы боимся нужды и голода в холодных жилищах из снега... Мы боимся болезни, которую постоянно встречаем вокруг себя... Мы боимся духов мертвых, как и убитых нами животных... Мы боимся всех невидимых вещей, которые нас окружают...» [13, 378-379].

Проявлением магической функции речи являются табу, табуистические замены. К. Носилов в книге «На Новой Земле» приводит пример табу у ненцев: «Но больше всего нас радовало, когда нам бабушка выворочит белого медведя. Про него она никогда прямо не скажет (упоминать имя его «ошкуй» грешно для самоедов, а для женщин в особенности)» [5,44]. Носилов отмечает, что табу характерно и для манси: «Делая это сам (вогул Лобсинья), он и меня приглашал то же делать, говоря, что «он» (они не называют свои божества по имени без нужды) пригодится нам на охоте...» [4,9].

У Ю. Шесталова находим: «С тех пор медведей стали убивать. Но мансиец не скажет: «Я убил медведя», а молвит: «Я низвел его». И не по имени медведя называ-

ют, а «в лесу живущим» величают» [6,239]. В повести «Синий ветер каслания» автор рассказывает:

«Тете Сане я подсовываю мансийский букварь. И она поет, как песню: «Сали, сали, сали» — и показывает на оленя, изображенного в букваре.

— Ворт-олнут, — читает она по складам.

Раньше она не смела назвать медведя по имени. А теперь читает» [11,415].

Табу связано часто с охотой, и «некоторые действия находятся под запретом потому, что они могли бы оказать противоположный эффект» [13,180], настолько сильна вера в действенную силу слова. У Ю. Шесталова встречаем описание как раз такого результата:

«Однажды охотники стали собираться на медведя. Старшие называли его почтительно. Ни одного худого слова о нем. Тихо собирались охотники. Шумел лишь один молодой охотник. Яковом его звали. Он хвалился своей смелостью, а хозяина тайги ни во что не ставил. Старики просили его быть поскромнее. Но он не слушался, как выюга.

И вот тридцать человек под корень кедра смотрят. Тридцать рогатин и копий нацелены в темноту под корень. И длинный шест смотрит тоже в темноту. Лает-бесится собака, кусая темноту... И вдруг, как висар-вихрь крылатый, вынесся из берлоги Мойпыр. Копья и рогатины, как во сне, чуть вздрогнули, но не полетели. Дальше всех, в стороне, под ветвистой елью, стоял Яков. Никого не тронул сын хозяина Верхнего мира — Нуми-Торума, а Якова отыскал и с головы его, буйной и хвастливой, снял кожу с волосами» [11,444-445].

Молодые люди часто нарушают старинные неписанные законы предков и даже не знают их. Вот, например, как описывает это Ю. Шесталов: «Вдруг вздрогнула земля, застучали копыта... «Что это такое?» — заинтересовался старик. Старуха откинула шкуру, прикрывающую вход, и ахнула: «Он идет!»

Кто-то уже в чуме. Он дышит тяжело, даже посвистывает. Откуда знать Окре, кто это такой? Ведь она не знает, что старики не зовут медведя по имени, просто «он» величают. Это ведь хозяин тайги, древний предок манси, древний предок ханты. Его назовешь по имени — значит, назовешь его зверем, и медведь тогда обидится...» [11,443-444].

Такая вера в слово отражена и в приведенных в начале статьи словах А. Неркаги из предисловия к «Молчащему»: «Я боюсь предсказывать... Не дай Бог, если этим Словом подписываю невольно приговор своему маленькому народу, который я люблю...» [1,232].

Одной из функций речи является контактоустанавливающая (фатическая). Часто употребляемые с этой целью слова являются своего рода формулами, трафаретными выражениями. Приведем пример из традиционных вопросов ненцев: «Майма знал: разговора не избежать, не молчать ведь — приехали гости, и все же ему было неприятно, что отец задал традиционный вопрос: «Как дорога?» [1,153].

Важным приемом установления контакта являются приветствия. Как известно, форма, содержание приветствий зависит от пола, возраста, социального положения говорящего. Кроме того, формы приветствий могут изменяться с течением времени. Так, В. Ф. Зуев, который 1,5 года провел среди хантов и ненцев (1771-1772 гг.), писал: «Между собою они равным образом ни малого приятства, ни учтивства не знают, да и не сродны к тому, не знают оне, как шапки скидываются. Приехав к другому в чум, никак не здороваются, а садится прямо, где нашел место пусто. Хозяин же, зная своего друга, уже знает, что его потчивать надо... Недавно еще, как они приняли от русских снимать шапки перед хорошими людьми и говорить по-остяцки — визя (здорово и прощай, все одно), по-самоедски — дорово, которое слово, видно, совершенно русское, и они его при свидании и провожании гостя также употребляют, но повеже своего собственного не имеют, то между собою и не здороваются, а только с русскими так поступают» [14,178-179].



По-другому характеризует обычаи ненцев и вогулов К. Носилов.

У К. Носилова также встречаем описание приветствий у манси и ненцев. Писатель отмечает радушное, почтительное отношением к гостям. Так, в книге «На Новой Земле» он рассказывает: «Нам подали, по самоедскому гостеприимству, свежие пимы. Я с удовольствием, благословляя такой обычай, всунул уставшие ноги в мягкую шерсть и подсел уютно к огню. Но этим не кончилось. Мне подают мягкую, теплую одежду, что-то вроде пеньюара, я облакаюсь в нее и вижу, что совсем стал самоедом. Такой же халат надел мой сосед, хозяин чума, и мы оба теперь сидим у костра, щеголяя отчаянно расшитыми костюмами, где самоедский вкус употребил все цвета сукна и лоскуты всех зверей... Этот маскарад вызвал дружный смех сначала моих спутников, а потом и всех присутствующих» [5,239].

В другом месте К. Носилов пишет: «Мы проходим мимо смущенных самоедок к самому последнему чуму из бересты, и мой гостеприимный хозяин просит меня пролезть в темное отверстие входа.

Я нагибаюсь, становлюсь на колени и залезаю в темный чум, где пока ровно ничего не видно.

Но там кто-то есть, смотрю – старая женщина-самоедка, которая торопливо стелет мне белую шкуру оленя рядом с потухшим почти огоньком, который дымит мелкие сучья полярной ивы.

— Здорово, войсоко, — говорит она мне в привет.

— Здорово, здорово, сово войсоко, — отвечаю я ей, и вот я в гостях у водяка старика Води» [5,335].

Подобное радушие отмечает К. Носилов и у вогулов, например:

«Действительно, не успели мы остановить и успокоить испуганных собаками наших оленей и сойти с нарты, как уже возле нее стоял без шапки хлопотливый старик с развевающимися волосами, с таким радостным лицом, как будто к нему приехали самые дорогие родные.

— Пайс, рума, Сопра! – кричу я ему еще издали приветствие.

— Пайся, пайся, рума, бояр, пайся, здравствуй, друг! – кричит мне в ответ старик и трясет мне руку.

— Пайся, бабушка, пайся, — кричу я старухе, которая уже не утерпела и выглянула на минутку из дверей своей юрты.

— Пайся, пайся, — слышу ее старческий голос, и она тоже, сияющая от восторга, торопится ко мне навстречу, сопровождаемая целой оравой белых пушистых собак...» [4, 82-83].

С горечью читаешь о том, как меняются обычаи северного народа. Покинув вогулов в 1886 г., К. Носилов через 10 лет вновь побывал у них и пишет: «Десять лет – небольшой период в жизни народов, но в таких местах, при таких обстоятельствах – это целый переворот, потому что в этот край нахлынул народ, новая торговля, промышленность...»

Носилов отмечает, что не узнал этих добрых людей, «которые когда-то так радушно встречали меня, выбегая из своих берестяных шалашей и так радушно угощали меня сырой рыбой, так ласково смотрели на меня, так любовно заботились обо мне, когда я садился в их утлый долбленный челнок и пускался по их многоводной реке в дорогу». Это был совсем другой народ, другие жители, хотя «на них почти та же растрепанная старая одежда, хотя их косы так же развевают и теперь вольный ветер на берегу реки, как ранее. Вот они вышли на берег, на лай собак, которые им возвестили, что кто-то приехал и пристал к их берегу. Они стоят, как и прежде, толпой, в ожидании, кто выйдет из лодки.

Но хоть бы один из них бросился нам помочь установить лодку у берега, хотя бы один человек, как прежде, помог нам выйти на берег, прибежал бы с приветом, услугой, доброй, раскрытой душой, как прежде.

Я выхожу и приветствую их:

— Пайся, пайся...

Но они отвечают глухо, как-то принужденно, видимо, меня не узнавая. Я не хочу им говорить, кто я, я даже рад этому, чтобы на первый раз заглянуть в их жизнь посторонним для них человеком, но меня выдают ямщики, и толпа вогулов, моих хороших знакомых, вдруг оживает, но как-то неловко, будто виноватая, будто сожалея, что ее застали так врасплох старые знакомые люди.

Ко мне приходят мои старые знакомые и протягивают руки, но молодежь, женщины — ни с места, когда прежде они все бросались к приезжему человеку, от души радуясь его приезду, жали ему руки и даже целовали их, если это был чиновник, батюшка или просто хороший, добрый знакомый русский.

Прежде вас окружала толпа, заглядывая вам в глаза, расспрашивая вас, куда вы едете, зачем, нисколько не стесняясь вашим присутствием, как дети, но теперь она уже сторонится вас, бежит, не доверяет вашему привету, словно напуганная кем в эти десять-двенадцать лет новых людей, нового времени, влияния, обычаев и отношений...

Я иду за ними в их шалаши, заглядываю в каждый, как прежде, но нигде уже нет того привета, какой я находил повсюду тогда, какой я видел в каждом взгляде хозяйки, в каждом ее застенчивом движении, заставляя ее врасплох среди ее обихода» [4, 159-160].

К счастью, до настоящего времени сохранились добрые традиции: Ю. Шесталов в очерке «Край сокровищ» описывает свой приезд из Ленинграда на родину: «Но вот откуда-то появляется симпатичный молодой человек. Идет мне навстречу. Лицо смугловатое, смолистые, по-мансийски чуть раскосые глаза смотрят приветливо. Я говорю ему: «Пася!» — «Здравствуйте!» Он отвечает по-русски и пожимает мне руку. Я прошу проводить меня в дом Алкадьева.

— Которого? — спрашивает молодой человек. — Их у нас много здесь...

— ...Вы приехали к Михаилу, моему среднему брату? — спрашивает меня мужчина, в волосах которого уже поблескивают ниточки седины. — Раз его нет дома, по нашему обычаю я, как старший, должен принять вас. Прошу в наш дом...

Кажется, вся деревня собралась в доме Ивана Никитича Алкадьева...» [10, 63-64].

К контактоустанавливающей функции речи относится и речевое поведение гостя и хозяина, беседа в обществе. В подобных речевых контактах проявляется сильное влияние культуры народа на язык. Для северных народов, судя по анализируемым произведениям, характерно невербальное общение (для большинства европейских народов типичным является общение, заполненное речью). К. Носилов объясняет возможность невербального общения условиями жизни народа («оторванностью от всего «света» и потому отсутствием «предмета» для беседы). Он пишет: «У меня на Новой Земле был друг-самоед. Мы были с ним большие друзья. Он редкий день не приходил ко мне в комнату, и хотя нам решительно не о чем было с ним говорить, потому что о чем можно говорить на этом острове, когда вы десять месяцев оторваны от всего света, и то, о чем еще можно говорить — о погоде вы и так знаете, потому что она постоянно перед вами, как единственный дневной интерес, но он был для меня так же необходим, как, видимо, и я ему. Придет ко мне, опустится на пол — самоеды не любят сидеть на стульях, привыкли сидеть на полу, — свесит в задумчивости голову и сидит так час, два, больше и даже порой выпится так в полусидячем положении и уйдет снова к себе, довольный, что он у меня побыл и перекинулся, быть может, двумя-тремя словами» [5, 131].

Такое невербальное общение весьма обычно на Крайнем Севере, как считает Носилов, объясняя эту особенность природой северного человека, сложившейся под влиянием климатических условий. Описывая одно из красивейших, по мнению Но-



силова, мест Обдорска, писатель характеризует общение людей: «...Это место на обрыве берега, это место у старенького самоедского храма, эта старенькая беседка – своего рода «стрелка» для Обдорска, только с той разницей, что здесь вместо чудного нашего моря – море снегов и сугробов с дальними горами, ... вместо веселого общества – небольшая задумчивая, молчаливая группа, которая словно застыла на этом вечно холодном воздухе, которая словно задавлена этим суровым климатом и убита. Такова уж природа человека на Крайнем Севере, который даже сюда, на это чудное место, приходит с какою-то своею вечной задумчивостью, приходит, посидит и так и уйдет с нею снова в свою снежную нору с ледяными зимой окнами...

...Чаще всех я, приходя сюда посидеть, встречал тут маленького, седенького, скромного старичка... Вот с этим-то старичком, молчаливым соседом по беседке, я и любил сидеть и думать на этом обрыве...» [5,312-313].

В произведениях А. Неркаги часто встречаются как в речи самой писательницы, так и в речи ее героев рассуждения о Слове, о чужой и своей речи (метаязыковая функция речи). Приведем несколько примеров.

А. Неркаги пишет: «Алешка «молчал уже несколько дней. Слова самые громкие и самые тихие – все пустое. Ни одним нельзя, невозможно выразить любви. Слова – пыль» [1,15]; Собираясь поделиться своей бедой с Вану, Алешка говорит: «Да, я долго молчу. Слово тяжелое». «Тяжелое, ничего, — отвечает Вану. – Мне больно не будет, если, конечно, ты его не бросишь камнем» [1,20]. На собственной свадьбе «выпил и Алешка, глядя перед собою, словно не люди, а тени, давно умершие, окружили его. Ожидать слова и самому что-то говорить, смешно и нелепо» [1,16]. Неркаги говорит устами Вану: «А старые ненцы еще совсем недавно говорили: не можешь несчастного согреть огнем, куска хлеба нет, табак кончился, ни понюшки нет – не казни себя, у тебя есть слово доброе, по силе равное огню, по сытости куску мяса и доброй понюшке по крепости» [1,21]. В другом месте, подчеркивая силу слова, Неркаги находит яркие сравнения: «Уходя из человека, слова уносят с собой яд тревоги, обид и сомнений, подобно тому, как ветер своей яростной силой выносит из леса мертвые листья, пыль, сухую пожелтую траву, — все, что отжило, отцвело, отшумело» [1,93].

О силе слова пишет и Ю. Шесталов. Приведем отрывок из повести «Когда качало меня солнце»: «В своей молитве-песне великий шаман Якса благодарил людей за то, что в течение долгой жизни внимали ему, а не попам-обиралам, у которых борода как веник, а живот как бездонная бочка. Ругал он и мансийских шаманов-кривляк, которые своим кривляньем наводят на людей страх. А народу нужно живое слово, которое согреет душу и даст телу силу» [6,289-290].

Гимном Слову является ненецкая легенда о Золотом Слове правды: «Золотое Слово правды... Что это? Песня? Молитва? Бог?! В один из вечеров старики говорили об этом. Глядя, как полыхает огнем закат, словно кто невидимый разжег Великий костер на краю Земли, за золотой громадой гор, Вану сказал: «От деда я слышал: там, у золото-красного огня каждый день сидит Золотое Слово правды. Сидит, набираясь своей вечной силы...» [1,25].

Итак, анализируя материал художественных текстов, мы пришли к выводу, что художественные произведения могут быть источником исследования функционирования речи у разных народов. Имеющийся материал предоставляет возможность изучения семантического объема слов в разных языках (ср., например, олень, солнце в русском, ненецком и мансийском языках), однако это уже другие задачи, которые будут решаться далее.

ЛИТЕРАТУРА

1. Неркаги А. Молчащий. Тюмень: СофтДизайн, 1996.
2. Под языковой общностью, вслед за А. Д. Швейцером, понимаем группировку, «обнаруживающую единый комплекс языковых признаков – общий инвентарь языковых единиц, общую языковую систему и т. п.», а под речевой общностью – «группировку индиви-

дов, основанную на общности какого-либо социального или социально-демографического признака и обнаруживающую единый комплекс речевых закономерностей, т. е. закономерностей использования языка». А. Д. Швейцер. Современная социолингвистика: Теория, проблемы, методы. М.: Наука, 1975.

3. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 14-15.
4. Носилов К. У вогулов. Очерки и наброски. Тюмень: СофтДизайн, 1997. 303 с.
5. Носилов К. На Новой Земле. Очерки и наброски. Тюмень: СофтДизайн, 1997. 365 с.
6. Шесталов Ю. Повести ленинградских писателей. Лениздат, 1983. 415 с.
7. См., например: К. Д. Дешериев. Проблема функционального развития языков и задачи социолингвистики // Язык и общество. М., 1968; Л. Б. Никольский. Изучение языковой ситуации как прикладная языковая дисциплина (к постановке вопроса) // Историко-филологические исследования: Сб. статей к семидесятилетию ак. Н. И. Конрада. М., 1967.
8. Вогулы – старое название манси.
9. Самоеды – старое название ненцев.
10. Шесталов Ю. В краю Сорни-Най. Северные монологи. М., 1976.
11. Шесталов Ю. Синий ветер каслания. М., 1985.
12. Язык и культура. М., 1976.
13. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1999.
14. Зуев В. Ф. Описание живущих Сибирской губернии в Березовском уезде иноверческих народов остяков и самоедов // Путешествия по Обскому Северу. Под ред. С. Г. Пархи-менко. Тюмень, 1999.

*Ольга Константиновна ЛАГУНОВА –
доцент кафедры русской литературы
филологического факультета,
кандидат филологических наук*

УДК 894. 5

**МОДЕЛЬ МИРА В РОМАНЕ
«ХАНТЫ, ИЛИ ЗВЕЗДА УТРЕННЕЙ ЗАРИ»
Е. Д. АЙПИНА**

АННОТАЦИЯ. В статье показано, что именно языческая взаимосвязь и одушевленность окружающего, характерные для мироощущения хантыйского народа, являются основой структуры романа Е. Д. Айпина.

The research presented in the article demonstrates that the pagan perception of the world as interrelated and animated being characteristic for Khanty attitude determines the basis of E. D. Aypin's novel structure.

«В самое последнее мгновение, когда все будет кончено и останется лишь единственный шаг в этой жизни...»¹ – так начинается первая глава романа Е. Д. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари». Начинается с предупреждения: «тягучий», «беспричинный», «тоскливый» вой «многое предчувствовавшего» Харко («плохая примета»); его «жалобное скуление» (словно хотел... о чем-то предупредить); «тревожное хорканье» олененка Пева; «бледный лик с тоскливым взором» в глазах оленихи и т. д. На три дня отлучается хозяин из дома, а дорога его (предупреждает начало повествования) будет «долгой», «дальней», «тяжелой», и... последней в его земной жизни. И с самого начала становится очевидным, что не только события этих нескольких дней станут предметом изображения в романе, а и все, что предшествовало им.